

Р. А. БУДАГОВ

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА?

1

Лингвисты часто прибегают к словам, выражениям и формулировкам, которые кажутся старыми и общеизвестными, само собою разумеющимися. Между тем в действительности их сущность нередко оказывается нераскрытой, а то и неправильно понятой. В свое время классики марксизма прекрасно показали общественную природу языка. Позднее об этом же по разному поводу убедительно писал и В. И. Ленин. Однако с тех пор прошло немало времени и тезис об общественной природе языка постепенно стал не столько исследоваться, сколько декларироваться. Его можно найти в любом учебнике по языкознанию, во многих статьях и брошюрах. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что этот тезис выдвигается либо как стандартная преамбула, с которой в дальнейшем изложении мало считаются, либо сводится к отдельным «социально окрашенным словам и выражениям». Чаще же всего проблема общественной (социальной) природы языка сводится лишь к «внешним условиям его бытования» и тем самым объявляется проблемой по существу своему нелингвистической.

Разумеется, имеется немало специальных исследований (среди них встречаются и превосходные), которые посвящены социальному осмыслению отдельных категорий и «пластов» конкретных языков, прежде всего их лексики и семантики, их стилистической норме. Подчеркивая всю важность подобного рода разысканий, я хочу заметить, что их авторы не всегда стремятся показать, в каком отношении социальная обусловленность отдельных «пластов» языка находится к общей социальной детерминации языка и в какой степени эта последняя затрагивает не только внешние «формы бытования языка», но и сущность самого языка, условия его функционирования в обществе. С этой точки зрения проблема общественной природы языка оказывается все еще очень слабо изученной.

Специальное исследование социальной обусловленности языка началось в советской лингвистике уже в двадцатые годы нашего столетия (целый ряд книг, статей и очерков). В американском языкознании эта же проблема, ныне обычно именуемая проблемой социалингвистики (*sociolinguistics*) возникла на тридцать лет позднее, в пятидесятых годах, о чем писал, в частности, американский лингвист В. Брайт¹. Попытаемся

¹ См. сб. «*Sociolinguistics*» ed. by W. Bright, The Hague, 1966. Возникновение термина «социалингвистика» Брайт относит к 1952 г. (стр. 11). С тех пор в Америке и Западной Европе вышло немало сборников социалингвистического характера. См., в частности: «*Aspekte der Soziolinguistik*», hsg. von W. Klein und D. Wunderlich, Frankfurt am Main, 1971. Весьма любопытен и исторический обзор: F. H e l g o r s k y, *La sociolinguistique aux États-Unis et en France*, «*Le français moderne*», 1973, 4, стр. 387—409. Его автор прямо заявляет: «До сих пор не существует теории отношений между языком и обществом» (советские работы на эту тему остались составителю неизвестными). По мнению одного из чешских языковедов, социалингвистика наших дней характеризуется «...скорее набором проблем...», чем прочно устоявшейся дисциплиной

обратить внимание, вокруг каких социолингвистических вопросов ведутся особенно горячие споры в наше время.

Начиная с двадцатых годов минувшего века, не прекращаются острые дебаты по вопросу о том, как следует понимать общественную природу языка. Уже у первых компаративистов возникли колебания: является ли язык биологическим феноменом или его природа обусловлена социально? Такого рода колебания наблюдались у Ф. Боппа. Ему казалось, что язык является прежде всего «биологическим организмом», который «управляется механическими законами» (предисловие автора к его «Системе спряжения в санскрите», 1816). Позднее аналогичные колебания были и у А. Шлейхера, еще позднее у младограмматиков. В 1863 г., в эпоху всеобщего увлечения естествознанием, А. Шлейхер публикует специальную работу «Теория Дарвина и наука о языке», которая в следующем 1864 г. была издана в России в анонимном переводе на русский язык².

К наукам о природе относил лингвистику философ и социолог Г. Спенсер. В двадцатом столетии даже такому выдающемуся лингвисту, как Г. Шухардт, казалось, что языкознание по своему материалу относится к наукам о природе и лишь по методу — к наукам гуманитарным³. Уже в нашу эпоху к этому взгляду близок Э. Бенвенист, а несколько раньше об этом же подробно писал Э. Кассирер, настойчиво подчеркивавший, что положение языкознания в системе естественных и общественных наук нуждается в пересмотре⁴.

Подобного рода краткая справка показывает, насколько сложна проблема общественной природы языка. Всем хорошо известно, что люди говорят с помощью языка. Между тем само сущностное *язык* во многих языках мира уже с древнейших времен имело по крайней мере два разных значения, впоследствии ставших словами-омонимами: *язык* — подвижный мышечный орган в полости рта и *язык* — средство коммуникации между людьми, средство выражения их мыслей и чувств, система звуковых, лексических и грамматических средств. Создавалось убеждение, что значение первого слова *язык* обусловлено биологически и физиологически, значение же второго слова — и биологически, и социально, так как звуки, без которых не может существовать ни один язык в значении второго существительного, детерминированы прежде всего физиологически. Действительно, язык как средство общения и выражения наших мыслей и чувств оказывается прежде всего общественным феноменом, тогда как язык как мышечный орган подлежит изучению в первую очередь в биологии и физиологии. Это несколько не мешает языкознанию — науке о языке как средстве общения — считаться с физиологическим устройством языка как мышечного органа, со звуками речи, особенностями которых во многом обусловлены физиологическим устройством именно данного мышечного органа человека, расположенного в полости рта.

Но само признание общественной природы языка еще мало о чем говорит. Весь вопрос в том, как и как интерпретируется общественная природа языка и какие выводы делает исследователь из самого факта

с собственным предметом исследования...» (И. Краус, К общим проблемам социолингвистики, ВЯ, 1974, 4, стр. 27). В настоящее время американская «Социологическая Ассоциация» стала выпускать «Sociolinguistics newsletter».

² А. Шлейхер, Теория Дарвина и наука о языке, СПб., 1864.

³ «Hugo Schuchardt-Brevier», 2 Aufl., Halle, 1928, стр. 334 и сл. Колебания часто наблюдались и в других гуманитарных науках. В свое время «И. Тэн и Ф. Брюнетьер были настолько ослеплены успехами естественных наук», что стремились применять методы изучения этих наук к истории и теории литературы (Г. Лансон, Метод в истории литературы, пер. с франц., СПб., 1911, стр. 19).

⁴ Е. Кассирер, Structuralism in modern linguistics, «Word», 1945, 2, стр. 111.

подобного признания. Такое признание может остаться пустой фразой и не оказать почти никакого воздействия на принципы и приемы исследования языка.

Обычно считается, что французский лингвист А. Мейе был в числе первых ученых, кто последовательно и настойчиво защищал социальную природу языка. В статье, впервые опубликованной в 1906 г., Мейе всячески подчеркивал этот тезис. «Язык,— писал он,— это явление в высшей степени социальное... Задача лингвистики заключается в том, чтобы показать, как та или иная структура языка взаимодействует с той или иной структурой общества»⁵. Мейе понимал: первое положение иллюстрировать гораздо легче, чем второе. Самому Мейе так и не удалось обнаружить взаимодействие между социальными и лингвистическими структурами, хотя к этому вопросу он неоднократно возвращался, в особенности в очерке истории греческого литературного языка⁶.

Нет ничего удивительного, что на этом пути А. Мейе подстерегала неудача. Вопрос был поставлен максималистски. Получалось так, будто бы ученый обязан либо обнаружить параллелизм между «социальными и лингвистическими структурами», либо тезис о социальной природе языка остается лишь общим постулатом, за которым совсем необязательно следовать в процессе конкретных лингвистических разысканий. Подобное «либо — либо» оказалось необоснованным. Положение о социальной природе языка можно успешно развивать на конкретном лингвистическом материале и без принятия положения об особом соответствии между социальной структурой общества и грамматической структурой языка. На мой взгляд, именно в этом неразграничении была ошибка А. Мейе — выдающегося исследователя почти всех индоевропейских языков мира.

Что же касается первого тезиса Мейе («язык — явление в высшей степени социальное»), то сам по себе он не был оригинален, так как широко встречался уже и в прошлом столетии, в особенности у русских ученых. В 1849 г., в частности, И. И. Срезневский в своих «Мыслях об истории русского языка» подчеркивал: «Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем. Народ и язык, один без другого, представлен быть не может... Народ действует; его деятельностью управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в языке его»⁷.

Подобные признания встречались и встречаются у многих выдающихся лингвистов как прошлого, так и нынешнего века. Гораздо труднее оказалось другое: перейти от общих положений («язык — явление в высшей степени социальное», «народ и язык неразрывны») к их конкретному исследованию или к тому, что Мейе не совсем удачно назвал взаимодействием «общественных и лингвистических структур». В другой формулировке проблема сохраняется и в наше время: ученые обязаны показать, как следует понимать слишком общий тезис о социальной природе языка применительно к его разным сферам и уровням — к лексике, грамматике и стилистике, к норме и ее вариантам и т. д. Здесь-то и возникают серьезные трудности. Рождаются расхождения между самыми различными учеными и в способах подхода к проблеме, и в ее освещении.

⁵ A. Meillet, *Linguistique historique et linguistique générale*, Paris, 1926, стр. 16—18. Впервые общественная природа языка была показана и научно обоснована в 1846 г. К. Марксом и Ф. Энгельсом в их совместно написанном исследовании «Немецкая идеология». По-своему понимали общественный характер языка многие выдающиеся русские филологи прошлого столетия.

⁶ A. Meillet, *Aperçu d'une histoire de la langue grecque*, Paris, 7 éd., 1965, стр. 119—131.

⁷ И. И. Срезневский, *Мысли об истории русского языка*, М., 1959, стр. 16—17.

Уже в начале нашего столетия социолингвистика должна была осмыслить сразу две и, как до сих пор обычно считают, во многом различные проблемы: с одной стороны, надо было показать особенности общих социологических вопросов в науке о языке, а с другой — обнаружить и очертить контуры внутренних тем, характерных для самой этой науки в отличие от других наук, тоже занимающихся изучением общества и человека. Учитель А. Мейе Ф. Соссюр окончил свой знаменитый «Курс» такими словами: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя»⁸. Подобная концовка резко осложняла всю постановку проблемы социологических аспектов языка. Оказывалось совершенно неясным, как же может лингвистика ограничиться изучением языка «в самом себе и для себя», если сам язык является феноменом «в высшей степени социальным» и служит средством общения между людьми? Между тем Соссюр не только сформулировал подобный противоречивый тезис, но и настаивал на том, что никаких других научных задач у лингвистики нет и не было («единственный и истинный объект лингвистики»). Социолингвистика, не успев окрепнуть, сразу же оказалось в трудном положении.

2

Поиски специфики языка прямо столкнулись с попытками истолкования социальной природы языка. Это столкновение, очевидное уже у Соссюра, стало еще более очевидным у многих зарубежных лингвистов тридцатых и сороковых годов нашего столетия. Так, например, Л. Ельмслев стал «освобождать» лингвистику от филологии и от истории. Ему казалось, что именно эти сферы человеческого знания мешают лингвистике превратиться в самостоятельную науку⁹. Строгое разделение синхронии и диахронии, подробно обоснованное Соссюром и сыгравшее известную положительную роль в привлечении внимания к современным языкам мира, к их структуре и бытованию в определенную историческую эпоху, вместе с тем, при одностороннем истолковании самого принципа «синхрония абсолютна», стало играть и отрицательную роль: структура языка приходила в столкновение с общественными функциями языка, присутствиями ему органически.

Вопрос ставился так, будто бы язык и общество антагонистичны, поэтому специфику языка надо искать за пределами и его общественных функций. Никто не формулировал вопроса иначе: не образуют ли общественные функции языка специфику самого языка? Ведь язык существует лишь в обществе, он служит людям, живущим в обществе. Почему же его специфику надо искать за пределами его общественных функций? Создавалось впечатление, что тезис об общественной природе языка — это всего лишь фраза, за которой ничего не следует и которая ни к чему не обязывает. До сих пор никто не ставил вопроса иначе: нет ли в общественных функциях языка специфики самих общественных категорий, не приобретают ли эти последние определенное своеобразие на лингвистическом уровне? Быть может, общественное «начало» и языковое «начало» соотносятся не только в плане «внешнего» и «внутреннего», но и в ином плане, при котором «внеш-

⁸ «Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 207. Споры вокруг этой знаменитой концовки соссюровского «Курса» проанализированы в комментарии итальянского знатока Соссюра Тульо де Мауро: F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Edition critique préparée par T. de Mauro, Paris, 1973, стр. 476—477.

⁹ L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953, § 57.

нее» способно выступать как «внутреннее», а «внутреннее» находит свое «внешнее» выражение? На мой взгляд, именно так происходит в действительности, в реальных национальных языках. Поэтому так следует ставить вопрос и в науке о языке.

Между тем одностороннее противопоставление внешнего (социального) и внутреннего (языкового) характерно для большинства лингвистов как у нас в стране, так и за рубежом. Приведу пока только один пример, но весьма типичный.

Исследуя историю существительного *цивилизация*, Э. Бенвенист объясняет причину позднего появления этого слова, без которого людям нашего времени трудно представить историю культуры. Слово *цивилизация* (*civilisation*) возникает во Франции лишь в 1757 г. По мнению французского ученого, столь позднее появление этого слова определяется двумя причинами: во-первых, тем, что суффикс *-isation* в ту эпоху был мало продуктивен (существительные типа *organisation* исчислялись единицами), и, во-вторых, новизной самого понятия *цивилизация*¹⁰. Здесь очень характерна последовательность причин: сначала непродуктивность суффикса, а затем «новизна понятия» (*la nouveauté de la notion*). Между тем, если верен тезис, согласно которому «язык — явление в высшей степени общественное», тогда неверна сама последовательность причин позднего появления того или иного слова, в нашем случае — *цивилизации*. Малая продуктивность данного суффикса смогла бы задержать появление существительного *цивилизация* лишь при условии отсутствия самой общественной потребности в подобного рода наименовании. При наличии же подобной потребности никакая «малая продуктивность суффикса» не смогла бы задержать возникновения в языке столь важного слова, как *цивилизация*. Если анализируемого суффикса в словообразовательной системе языка не было бы вовсе, то существительное оформилось бы иначе, с помощью другого суффикса. Как общее правило, не суффиксы регулируют появление новых слов, как получается у Бенвениста, а общественные потребности в подобных словах. Суффиксы же подчиняются этим потребностям: если нельзя воспользоваться одним из суффиксов, на помощь приходят другие суффиксы, другие ресурсы словообразовательной системы языка.

Рассуждение Э. Бенвениста представляется тем более антисоциальным, что до возникновения *civilisation* язык уже располагал образованиями типа *organisation*, *fertilisation*, *thésaurisation* и некоторыми другими. И все же исследователь подчеркивает, что именно «суффиксальные затруднения» задерживали появление такого важнейшего слова, каким оказалось слово *цивилизация*. Ошибочность подобных рассуждений очевидна: все социальное в языке относится к «внешним факторам» его бытования и поэтому оказывается будто бы «менее существенным» для внутренней жизни самого языка. Материал многих языков опровергает подобное заключение.

Противопоставление внешних и внутренних факторов в теории и истории языка сыграло роковую роль в процессе истолкования общественной природы языка. Все социально обусловленное в языке исследователи относят к внешним факторам и тем самым выводят проблему социальной обусловленности языка за пределы лингвистики. При этом не учитывается, что, как любил подчеркивать Гегель, внешнее на одном этапе развития может выступать как внутреннее на другом его этапе, точно так же,

¹⁰ E. Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, Paris, 1966, стр. 340. Об истории слова *цивилизация* см.: Ю. С. Степанов, *Слова правда и цивилизация* в русском языке, ИАН ОЛЯ, 1972, 2, и специальную главу в моей книге «История слов в истории общества», М., 1971, стр. 108—133.

как внутренние факторы в состоянии трансформироваться во внешние факторы в процессе движения ¹¹.

Не так давно авторы коллективной монографии «Русский язык и советское общество» сделали попытку преодолеть одностороннее и метафизическое противопоставление «внешнего и внутреннего» в функционировании языка. Составители этой монографии правильно отметили, что «...внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны», но значение этого положения тут же было сведено на нет утверждением: «Выражения „социальные факторы“, „внеязыковые факторы“, „внешние факторы“... употребляются как синонимические» ¹². После этого вопрос о том, как же следует понимать положение о социальной сущности внутренних закономерностей языка, остался, разумеется, без ответа. Сближение «внутреннего» и «социального» понадобилось авторам лишь для общей декларации, для того, чтобы тут же опровергнуть самую возможность подобного сближения.

На мой взгляд, тезис — внутренние закономерности развития языка, как и все другие его закономерности, остаются в конечном счете социальными — является основным тезисом, без правильного и глубокого понимания которого невозможна сама постановка вопроса об общественной природе языка. Между тем до наших дней этот тезис остается почти совершенно не обоснованным и материал, к нему относящийся, все еще почти совсем не изученным.

3

Еще в 1888 г. Поль Лафарг в своих ярких очерках «Французский язык до и после революции», вызвавших одобрение Ф. Энгельса ¹³, стремился показать, как повлияла французская революция 1789—1793 гг. на французский язык той же эпохи. Лафарг опирался главным образом на материал лексики (новые слова, новые значения старых слов, новые словосочетания), хотя выводы свои строил в общем плане, подчеркивая глубокие изменения всего языка, а не только его лексики. Получалось так: революция в общественном строе сопровождалась революцией в области языка. Но как в таком случае следует осмысливать революцию языка? Французы после 1793 г. говорили на языке, на котором они изъяснялись и в середине восемнадцатого века. Допустимо ли изменения в лексике отождествлять с изменениями всего языка, в том числе и его грамматического строя? Блестяще написанная и интересная по материалу, работа Лафарга все же не давала ответов на эти вопросы ¹⁴.

Эта проблема очень важна, в частности и потому, что она до сих пор выдвигается учеными, желающими подчеркнуть чисто внешний характер влияния всяких общественных факторов, в том числе и социальных революций, на язык. Совсем недавно тот же Э. Бенвенист повторил пример, неоднократно встречавшийся и до него у других исследователей. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. в России привела к

¹¹ Г. Гегель, Соч., 5, М., 1937, стр. 629.

¹² См.: «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка». М., 1968, стр. 34.

¹³ См. письмо Ф. Энгельса к П. Лафаргу от 11 апреля 1888 г. Идеи П. Лафарга попытались дальше развить: К. Н. Д е р ж а в и н, Борьба классов и партий в языке Великой французской революции, «Язык и литература», II, 1, Л., 1927; Р. А. Б у д а г о в, Развитие французской политической терминологии в XVIII веке, Л., 1940.

¹⁴ Задолго до Лафарга о «революции в языке» писал Виктор Гюго в своем знаменитом стихотворении «Ответ на обвинение» (1834). Здесь неравенство между классами общества прямо сравнивалось с неравенством слов в языке. До 1789 г. «слова высокого и низкого происхождения жили замкнутыми кастами» (В. Гюго). Но и у великого поэта речь здесь шла только о словах и их значениях, но не о языке в целом.

изменению всего общественного строя в нашей стране. Ну а язык? — спрашивает Бенвенист. И отвечает: язык остался прежним, возникли лишь отдельные новые слова¹⁵.

На первый взгляд аргументация Бенвениста кажется неотразимой. Между тем она ошибочна, поверхностна. Конечно, и после 1917 г. русский язык продолжал оставаться, как он продолжает оставаться и теперь, «языком Пушкина и Льва Толстого». Этот язык «велик и могуч». Нельзя, однако, при этом не видеть глубокой зависимости языка от общественного строя. Что произошло с русским языком после Октября 1917 г.? Проблема не сводится только к лексике, как считают Бенвенист и большинство других ученых. Прежде всего, глубоко изменилось отношение людей к своему литературному языку, стало постепенно меняться и положение литературного языка в его взаимодействии с народной речью, диалектами и жаргонами, сама норма литературного языка (при всей ее подвижности) стала доступной более широкому кругу говорящих на данном языке людей. Все это факторы, как и многие другие, отнюдь не внешние по отношению к языку: изменились социальные условия жизни общества — изменились сфера и характер функционирования языка, в первую очередь — литературного языка.

Я глубоко убежден в неправомерности обычной постановки вопроса: нет существенных изменений в грамматическом строе языка, следовательно, нет изменений в языке вообще, все остальное, относящееся к языку, будто бы несущественно и третьестепенно. Нет, сфера функционирования языка и характер подобного функционирования не менее существенны для языка, чем «все остальное». Условия же функционирования языка, его различные стили и «варианты стилей» определяются условиями жизни общества, т. е. социальными факторами.

Разумеется, нельзя недооценивать и лексики. Обычно, когда говорят о влиянии социальных событий на язык, имеют в виду возникновение новых слов. Однако еще важнее другое: возникновение огромного количества новых значений у старых слов, формирование новых словосочетаний, изменения в соотношении между разговорной и письменной речью, вторжение «просторечия» в сферу литературного языка и многое другое. Во всем этом легко убедиться, если сравнить, например, состав четырехтомного «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935—1940) с составом любого толкового словаря, опубликованного до 1917 г.

Социальные импульсы языка обнаруживают себя даже тогда, когда сами они дают о себе знать как бы в обратном отношении к импульсам собственно языковым. Один из испанских диалектологов показал, что в Андалусии, где социальные контрасты в обществе выражены особенно резко, не наблюдаются столь же очевидные контрасты в речи. И наоборот: где речевые контрасты выступают более отчетливо, там социальная дифференциация приобретает более «умеренные формы». Социальная дифференциация общества в известных случаях как бы «погашает» дифференциацию речевую¹⁶. «Переключки» общества и языка выступает здесь со знаком минус. Но даже и в этом случае, несмотря на минусовый показатель, воздействие социальных факторов на язык очевидно. Во всяком обществе, в том числе и в классовом, обычно борются тенденции к объединению и тенденции к дифференциации (социальной, «духовной», языковой, индивидуальной, профессиональной). Столкновение этих тен-

¹⁵ E. Benveniste, *Structure de la langue et structure de la société*, сб. «Linguaggi nella società e nella tecnica», Milano, 1970, стр. 18.

¹⁶ См. об этом: Г. В. Степанов, Социально-географическая дифференциация испанского языка Америки на уровне национальных вариантов, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 298.

денций приводит к самым различным результатам в зависимости от характера данного общества и особенностей исторической эпохи.

Как видим, расширение сферы влияния различных социальных факторов на язык не должно привести к упрощению самого понимания взаимодействия между общественными и языковыми категориями. Взаимодействие может быть весьма различным, и само несходство в этой области должно стать предметом тщательных конкретных исследований.

Отметим еще одно типичное осложнение на пути изучения проблемы. Известно, что многие диалектные членения старых индоевропейских языков часто совпадали в древности с феодальными границами. Между тем подобные совпадения наблюдались отнюдь не всегда, в частности, в истории славянских языков. Границы тех и других членений могли расходиться и осложняться¹⁷. Из самого факта подобного рода расхождений (несовпадений) можно сделать два противоположных вывода: либо вовсе отвергнуть зависимость диалектного членения от членения социального, либо, учитывая подобные несовпадения, попытаться их осмыслить и показать, что процесс непрерывного взаимодействия тех и других факторов время от времени приводит к их же осложнению: социальное «перехлестывает» языковое (в данном случае диалектное), а языковое иногда «не дотягивает» до социального. И все же сами эти расхождения обнаруживают социальную природу языка. Она дает о себе знать подобными «перетяжками» и «недотягиваниями». Если социальные и лингвистические границы не совпадают, то, как правило, именно социальные причины и объясняют такие несовпадения. К сожалению, и эта проблема все еще очень мало изучена, хотя отдельные лингвисты уже делали попытки в ней разобраться на конкретном языковом материале.

Распределение тех или иных ресурсов языка тоже детерминировано социально. Один из исследователей уже обратил внимание на то, что аргогические слова особенно часто появляются в тех случаях, когда процесс труда протекает плохо, а изделия этого труда получаются недоброкачественными. У наборщиков недоброкачественный набор называется *мухой*, а у бухгалтеров о плохо составленных расчетах говорят, что они *не танцуют, не пляшут*, что они *разъехались*. Нелюбимую учительницу (плохие результаты труда) Наталью Михайловну школьники могут называть *Нат.миллом* и т. д. Широко известны аналогичные явления и в других языках¹⁸.

Здесь мы встречаемся с новым осложнением. Многие филологи утверждают, что в эпоху научно-технической революции язык утрачивает свое единство. Каждый большой национальный язык распадается на множество разных языков. Один из известных западногерманских лингвистов так и пишет: «Каждый язык — это собственно конгломерат языков»¹⁹. С аналогичной точкой зрения встречаемся и у других исследователей. Сторонники подобной концепции, однако, не объясняют, как же один язык может заключать в себе множество языков? В каких значениях выступает здесь слово *язык* в первом и во втором случаях? Разумеется,

¹⁷ Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 626—630; «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», под ред. В. Г. Орловой, М., 1970.

¹⁸ Д. С. Лихачев, Аргогические слова профессиональной речи, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 353 и сл.

¹⁹ «Jede Sprache ist ein Konglomerat von Sprachen» (M. Wandruszka, Interlinguistik. Umriss einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971, стр. 8). Несколько дальше этот же автор подчеркивает «многоязычность внутри нашего родного языка» («Mehrsprachigkeit innerhalb unserer Muttersprache», стр. 123).

научно-техническая революция осложняет само понятие единства языка: в литературный язык постоянно вливается большое количество новых слов, возникающих в разных областях науки и техники, старые слова приобретают новые значения, формируются новые словосочетания, особые синтаксические построения (в частности, номинативные предложения), изменяется соотношение между стилями языка, в особенности — между интонациями разговорной и письменной речи и т. д. Все это бесспорно. Но все это не дает никаких оснований для того, чтобы говорить о «разных языках в одном языке» или о «конгломерате языков в каждом отдельном языке».

В действительности подобные различия, сами по себе важные и интересные, никогда не разрывают единства общенационального языка, имеющего длительную традицию. Во всех подобных случаях надо говорить, разумеется, не о разных языках в одном языке (*contradictio in adjecto*), а о вариантах единого языка, о его функциональных расслоениях, о его многоаспектности и многогранности. Если бы вопрос решался иначе, то никакое понимание между людьми, говорящими на одном языке, было бы невозможным. Между тем и в эпоху научно-технической революции, как и раньше, люди, говорящие на одном языке, как правило, прекрасно понимают друг друга, несмотря на постоянные осложнения самого языка и его увеличивающуюся многоаспектность. Разумеется, если специалист в области математики или астроnavтики будет беседовать на свои строго научные темы с неспециалистами в этих областях, последние многого не поймут. Но когда говорят о языке, понимают прежде всего язык повседневных сношений между людьми, по отношению к которому терминология тех или иных научных дисциплин (при всей ее важности) выступает как низшее, находящееся в зависимости от высшего (общелитературного языка).

Известно, что современная наука становится все в большей и большей степени непосредственной производительной силой, необходимым фактором самого производственного процесса. Как же «откликаются» национальные языки разных народов на это важнейшее общественное явление?

Западногерманский лингвист Е. Косериу дает отрицательный ответ на подобный вопрос²⁰. Он считает, что наука и техника совершенно иначе развиваются и изменяются, чем язык. Язык всегда традиционен, он связывает разные поколения людей. Наука и техника, напротив, революционны, они способны отрицать то, что еще совсем недавно казалось незыблемым. Поэтому могут быть современная культура и современная техника, но нельзя себе представить современный язык. Такова логика рассуждений исследователя. На мой взгляд, Е. Косериу прав только в одном: язык действительно связывает различные поколения людей и дает возможность не только отцам понимать детей, но обычно сохраняет преемственность на протяжении многих веков. И все же язык не оказывается в стороне от науки и техники. Сама многоаспектность современных национальных языков народов мира обусловлена в значительной степени влиянием научно-технической революции, происходящей в обществе. Присмотримся, как это происходит.

4

Хорошо известно, что общественная природа языка обнаруживается прежде всего в лексике. И дело здесь не только в том, что в языке постоянно возникают новые слова. Как я только что отметил, не менее важно и

²⁰ E. Coseriu, *Das Phänomen der Sprache und das Daseinverständnis des heutigen Menschen*, Sonderdruck aus Heft 1—2 der «Pädagogischen Provinz», 1967, стр. 9.

другое: старые слова постоянно обновляются в своих значениях. Общественная природа языка здесь постоянно напоминает о себе двояким образом: и в создании собственно нового и в обновлении старого, в процессе приведения старого в соответствие с нуждами людей, живущих в обществе. Старое обновляется от одного присутствия нового. Ввиду того, что общественная природа лексики больше изучена, чем общественная природа других уровней языка, в последующих строках я вернусь к лексике лишь в особом ракурсе²¹.

Здесь, однако, нельзя не опровергнуть одно, широко распространенное заблуждение. Часто вопрос ставится так: да, разумеется, лексика подвижна, лексика во многом социально обусловлена, но она не имеет прямого отношения к языку, выступающему как определенное структурное целое²². При всей кажущейся неотразимости подобных рассуждений в действительности они ошибочны. Во-первых, сама лексика «структурно оформлена», она существует лишь в системе того или иного языка. Во-вторых, структура языка для того, чтобы называться «языковой структурой», а не «структурой вообще», должна «наполняться» лексикой. В-третьих, наконец, критикуемое заключение покоится на одностороннем понимании внешнего и внутреннего в языке, при котором не учитывается их постоянное и глубокое взаимодействие. Поэтому тезис «лексика социальна, но структура языка антисоциальна» должен быть признан совершенно ошибочным. Дальше будет сделана попытка показать, что структура языка не может быть антисоциальной.

В самой лексике, однако, есть такие социальные аспекты, на которые обычно не обращают внимания. И если я не хотел бы говорить об очевидных социальных основах лексики, то об ее не столь очевидной социальной окраске необходимо сказать несколько слов.

В свое время А. Мейе заметил, что в глубоком прошлом все слова индоевропейских языков выступали либо в функции *о б о з н а ч е н и я* окружающих людей (*le mot-force*) либо, и притом гораздо чаще, в более «спокойной» функции *о б о з н а ч е н и я* окружающих нас предметов и явлений (*le mot-signe*)²³. Когда в языке Гомера существительное *ἵππος* употреблялось и в значении «сна» и в значении «гипноза», то читатель сталкивался не только с обычной для языка полисемией, но и со стремлением говорящего оказать воздействие на слушателя, объяснить, какие силы могут вызвать явление сна. Известно, что подобного рода семантической палеонтологией интересовались в свое время многие выдающиеся ученые, в том числе Н. Я. Марр, Л. Леви-Брюль, Э. Кассирер и другие. В наши дни аналогичными вопросами стали заниматься главным образомистики первобытного общества и религии и гораздо меньше лингвисты. Как бы ни объяснять древнюю полисемию подобного рода (вопрос этот достаточно сложен), несомненно только одно: лексика естественных языков человечества социальна не только в ее настоящем состоянии, но и в ее прошлом. Что же касается самого положения о «слове-силе» и о «слове-знаке», положения о том, как, когда и почему

²¹ Подробнее см.: Р. А. Б у д а г о в, Проблемы развития языка, М.—Л., 1965, стр. 41—53; несколько иначе в интересной книге: G. M a t o r é, L'espace humain, Paris, 1962, стр. 205—236.

²² Так рассуждает, например, Ж. Мунен (G. M o u n i n, Clefs pour la sémantique, Paris, 1972, стр. 160—161).

²³ А. M e i l l e t, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 7 éd., Paris, 1965, стр. 235 (первое издание этой книги вышло еще в 1913 г.). Развитие сходных идей: F. P a u l h a n, La double fonction du langage, Paris, 1929, стр. 17 и сл. См. новую постановку вопроса в монографии: И. М. Т р о н с к и й, Вопросы языкового развития в античном обществе, М., 1973, стр. 103—120.

«выветриваются» одни слова и удерживают свое «наполнение» другие слова, то данный тезис еще станет предметом специальных углубленных разысканий в будущем. Даже такие «выветренные» названия, как собственные имена, обычно не случайны. Пушкин, например, успел закончить первую главу своего «Онегина», прежде чем окончательно остановился на имени *Евгений*:

Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу.

А как же быть с грамматикой? Если социальные аспекты лексики готовы признать те лингвисты, которым сама лексика представляется «чисто внешней сферой языка», то грамматiku обычно не связывают с обществом. Больше того. Всякие попытки разобраться в общественных функциях грамматики заранее объявляются вульгарно-социологическими. Здесь действует тактика «упреждающего удара».

Между тем социальные аспекты грамматики, хотя и не столь очевидные, как в лексике, не менее существенны и важны для понимания общественной природы языка в его целостности.

Чтобы разобраться в этом, необходимо устранить одно широко распространенное заблуждение. Обычно рассуждают так: вы хотите связать падежи или предлоги со структурой общества? Разве вы не понимаете, что это самая настоящая вульгарная социология? Действительно, каждый, кто попытался бы связать падежи или предлоги, времена или наклонения непосредственно со структурой общества, не мог бы не оказаться по крайней мере в смешном положении. Здесь нет двух мнений. Но вопрос поставлен неправильно. Речь идет не о том, чтобы «связать» отдельные грамматические категории со структурой общества. Речь идет совсем о другом — о степени развития грамматических средств языка в разные исторические эпохи. Допушкинская грамматика русского языка располагала меньшими выразительными возможностями (в самом широком смысле), чем грамматика самого Пушкина и тем более грамматика после Пушкина. В этом общем плане «сдвиги» в грамматике русского языка были тесно связаны со «сдвигами» в культуре общества, с огромными успехами отечественной художественной литературы, науки и т. д. В этом же плане движение самой грамматики определенной эпохи выступает как движение социальное. Грамматика развивалась и совершенствовалась вместе с развитием языка, вместе с развитием культуры общества. Следовательно, дело не в том, «лучше» или «хуже» предлоги или падежи. Речь идет об общем направлении развития грамматики конкретного языка в конкретную историческую эпоху²⁴.

Само разграничение разговорной и письменной речи обусловлено прежде всего общественными причинами. Коммуникация в процессе разговора протекает во многом иначе, чем в процессе письма. Мы говорим не совсем так, как пишем, хотя и говорим и пишем на одном языке. Различия вариантов в пределах единого языка, оставаясь вариантами одного языка, все же остаются значительными. Между тем разговорная речь отличается от письменной не только своей лексикой, но и своей грамматикой (особенно синтаксисом), своими интонациями, всем своим

²⁴ В этой связи я хочу обратить внимание на прекрасную книгу Л. П. Якубинского («История древнерусского языка», М., 1953).

построением²⁵. Если в разговорной речи широко представлены, например, номинативные конструкции, то они оказываются обусловленными особенностями самой разговорной речи, которая в свою очередь всегда детерминирована социально. Так через посредство ряда звеньев в специфика синтаксических построений оказывается зависимой от специфики коммуникации. Общественная же обусловленность коммуникации в целом не может быть взята под сомнение.

Стремление переложить все социальные функции языка на лексику должно быть признано несостоятельным по многим причинам. Причины теоретического характера были подчеркнуты в предшествующих строках. Обратим теперь внимание на причины практического характера, связанные с анализом языкового материала.

Обычно считается, что лексика — показатель степени развития языка, что лексика всегда подвижнее грамматики. Нисколько не беря под сомнение подвижность лексики, я хочу подчеркнуть, что в определенные эпохи грамматика может быть социально более показательна, чем лексика. Русскими людьми первой половины XVIII в. церковнославянские элементы в морфологии воспринимались как более архаичные формы, чем сами церковнославянские слова, к которым уже успели привыкнуть. Формы именительного падежа единственного числа причастий мужского рода без суффиксального *щ* в настоящем времени и *ш* в прошедшем времени (типа *даждь*, *даждьш* и т. п.) были, по свидетельству многих современников, явно архаичными. В очерке русской грамматики, приложенной к немецко-латино-русскому словарю Вейсмана 1731 г., читаем: «Ныне всякий славянизм, особливо в склонениях, изгоняется из русского языка». Немного позднее, в 1747 г., об этом же писал и Тредиаковский в своем трактате об орфографии²⁶. В эту эпоху морфология оказалась чувствительнее к разграничению понятий «старое — новое», чем лексика. Сами же эти понятия (старое — новое) относятся, разумеется, к сфере социального. Аналогичные явления наблюдаются и в истории других, самых разнообразных языков.

Общественные функции грамматики менее заметны, чем аналогичные функции лексики. Для того чтобы заметить влияние науки и научно-технической революции на формирование новых значений у слов типа, например, *спутник* («космический аппарат») или *головной* («ведущий в группе») — *головное* учреждение), не требуется никаких специальных знаний и нет необходимости в специальных разысканиях. Для того же, чтобы обнаружить социальную функцию таких, например, грамматических категорий, как категории рода или числа в разных языках мира, требуются и специальные знания и специальные разыскания.

В истории романских языков, в частности, категория грамматического рода была отчетливо обусловлена социально. При наименовании животных женский род оказывался маркированным лишь в тех случаях, когда соответствующее животное-самка играло в хозяйстве более заметную роль, чем животное-самец. Многочисленные примеры такого рода приводит Г. Рольфс в своей известной работе, посвященной лексической дифференциации романских языков. Разумеется, проблему эту нельзя упрощать, тем более вульгаризировать, но нельзя также не

²⁵ См., в частности: «Русская разговорная речь» под ред. Е. А. Земской, М., 1973; Н. А. Ш и г а р е в с к а я, Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи, Л., 1970; О. А. Л а п т е в а, Изучение русской разговорной речи в отечественном языковедении последних лет, ВЯ, 1967, 1.

²⁶ См.: Г. О. В и н о к у р, Русский литературный язык в первой половине XVIII века, в его кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1959, стр. 126—127.

обращать на нее внимания, не замечать, игнорировать²⁷. Социальные функции категории рода оказываются живыми не только в прошлом, но и в современном состоянии многих языков²⁸. *Mutatis mutandis* то же следует сказать о социальных функциях других важнейших грамматических категорий, известных разным языкам мира.

Я меньше всего хочу создать такое впечатление, что общественные функции грамматики сводятся к сумме примеров: вот иногда категория рода социально обусловлена, а вот число, а вот модальность. Дело не в сумме примеров, а в грамматических функциях в целом. В последующих строках будет сделана попытка вернуться к этим целостным функциям грамматики. Сейчас же продолжу «серию примеров». Наши известные японисты — Н. И. Конрад и А. А. Холодович — в свое время писали об особом «социальном спряжении в японском языке», в котором выбор типа спряжения обуславливается не только тем, кто и к кому обращается, но и тем, идет ли речь об отношении «я к не-я» или «не-я к я»²⁹. Совсем недавно В. М. Аллатов в своей монографии «Категория вежливости в современном японском языке» (М., 1973) убедительно показал, что многообразные «категории вежливости» имеют в японском языке не только лексические, но и отчетливо грамматические формы выражения. В связи с этим возникает и интереснейшая общелингвистическая проблема: то, что в одних языках передается преимущественно лексически, в других языках транспонируется грамматически. Соответственно могут укрепляться и расширяться социальные функции грамматики. Эта проблема в сравнительном плане до сих пор остается почти совсем не изученной³⁰.

5

Как я стремился показать, существует множество пониманий общественной природы языка. Если не сводить одно из таких пониманий к простой и ни к чему не обязывающей декларации — язык есть общественное явление, — то само признание подлинно общественной природы языка должно неминуемо вести к целому ряду других общих и специальных положений. Общественная природа языка означает, в частности, что язык самым тесным образом связан с самим обществом, с людьми, составляющими общество, живущими в нем. Известен старый эксперимент: в прекрасный солнечный день вы приходите в гости к вашему другу, у которого в квартире опущены все шторы. *Добрый вечер* — проносите вы, даже не замечая вашей ошибки. Ситуация встречи (действительность) подсказывает вам не *день*, а *вечер*.

Но такими примерами еще ничего не докажешь. Во-первых, говорящий мог и при опущенных шторах произнести *добрый день*, во-вторых — и это главное, — влияние ситуации на характер разговора, на выбор тех или иных слов и грамматических конструкций еще не раскрывает сложных взаимоотношений между языком и действительностью.

²⁷ G. Rohlf, *Diferenciación léxica de las lenguas románicas*, Madrid, 1960, стр. 112; Ю. С. Степанов, *От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики*, сб. «Общее и романское языкознание», М., 1972, стр. 115—118.

²⁸ И. Ф. Протченко, *О родовой соотнесенности названия лиц*, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964; G. Wienold, *Genus und Semantik*, Meisenheim, 1967.

²⁹ Н. И. Конрад, *Синтаксис японского языка*, М., 1937, стр. 77—80; А. А. Холодович, *Очерки по японскому языку*, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 173—177.

³⁰ Ср. в другой связи анализ «языкового существования в Японии» (см.: С. В. Неров, *Об одном направлении лингвистической науки в Японии*, ВЯ, 1963, 6).

«Язык не отражает действительности», «язык прямо не связан с действительностью» — такого рода утверждения часто приходится встречать в работах современных лингвистов определенного направления³¹. При этом приводятся такие доводы: каждый язык по-своему «членит» окружающий нас мир. В одних языках имеется категория грамматического рода, в других ее нет совсем, в одних языках различается несколько прошедших времен, в других имеется лишь одно такое время или его нет совсем, в одних языках для понятия «братья и сестры» бытует особое слово (нем. *Geschwister*), в других подобного слова найти нельзя, а соответствующее понятие приходится передавать описательно; одни языки располагают десятками гласных фонем, а в других их только пять или еще меньше и т. д. На основе подобных данных часто делается ошибочный вывод: мир вещей и мир идей в том виде, в котором и те и другие передаются в языке, существуют параллельно и никак не взаимодействуют.

Если стоять на материалистических позициях, то с таким выводом никак нельзя согласиться. Каждый язык в самом деле имеет свои особенности и в фонетике, и в грамматике, и в лексике. Это хорошо известно каждому школьнику. И все же существует глубокое и постоянное взаимодействие между языком и действительностью, между «миром языка» и окружающим нас миром. Положение: каждый национальный язык по-своему «членит» окружающий нас мир³² — может быть интерпретировано с двух противоположных точек зрения. В одном случае признается независимость языка от действительности (теоретически и практически неприемлемая концепция), а в другом устанавливается, что имеется как общая связь всякого естественного языка с действительностью, так вместе с тем и специфическая связь языка с действительностью, характерная для данной конкретной языковой системы и нехарактерная или менее характерная для другой языковой системы. Практика показывает, что именно эта последняя точка зрения соответствует истине, она подтверждается анализом языковых фактов и опирается на твердые основания.

Приведенный несколько раньше пример (*добрый вечер* — при свете яркого солнца) может быть интерпретирован и в пользу тезиса о связи языка с действительностью, и в пользу противоположного тезиса, согласно которому язык все терпит: можно сказать что угодно — и *добрый день*, и *добрый вечер*, и *слоеный день* или *неслоеный вечер*.

Справка из истории вопроса и здесь окажется нелишней. Уже в 1855 г. известный немецкий лингвист Штейнталь в первом издании своей книги «Грамматика, логика и психология» настаивал, что грамматика и логика не имеют между собой ничего общего. Поэтому, по убеждению Штейнталья, предложение *этот круглый стол четырехугольный* является совершенно правильным: в нем соблюдается правило грамматического согласования (стол *круглый*, а не *круглая*, *этот*, а не *эта* или *это*), правило грамматического определения существительного (*стол*) с помощью прилагательного (*круглый*) и т. д. И так как логическое и понятийное содержание предложения лингвиста интересовало «не может и не должно», то перед нами «прекрасная правильная фраза, выраженная с помощью данного языка»³³. Поначалу аргументация Штейнталья кажется неотразимой: лингвист действительно занимается «формами грамматики». При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что аргумента-

³¹ См., например: A. Martinet, *Éléments de linguistique générale*, Paris, 1960, стр. 15.

³² На этой основе строится, как известно, так называемая гипотеза Сепира — Уорфа.

³³ H. Steintal, *Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Principien und ihr Verhältnis zu einander*, Berlin, 1855, стр. 220.

цию автора могут принять лишь те ученые, которые неправомерно истолковывают и существо грамматики, и общественную природу языка.

Штейнталь считал, что грамматика не знает категории значения, что ее область — это сфера «чистых форм». «Язык возник не из потребности в общении, а из потребности в самосознании»³⁴. В этом ракурсе очевидно, что коммуникативное содержание предложения не может интересовать лингвиста, тем более, что и основа языка — грамматика — предстает перед нами лишь как сфера уже знакомых нам «чистых форм, не обремененных значением». Только в свете таких взглядов построение типа *этот круглый стол четырехугольный* может быть признано «прекрасной русской фразой» (resp. «прекрасной немецкой фразой»).

Эксперимент Штейнталья много раз повторялся в истории языкознания, как правило без ссылки на первоисточник. В 1897 г., почти через пятьдесят лет после Штейнталья, его воспроизвел Мишель Бреаль в своей книге «Опыт исследования семантики». Считая, что построения типа *четырёхугольный круг* (*un cercle carré*) в языке возможны, Бреаль вместе с тем призывал проникнуть в содержание таких грамматических категорий, как род, число, артикль и т. д. Бреаль уже не согласен со Штейнталем (без ссылки на него), что грамматика оперирует лишь «чистыми формами». Само заглавие книги французского исследователя заставляло его обратиться к содержанию грамматических форм и категорий³⁵. Бреаль оставил, однако, без ответа вопрос о том, какую коммуникативную функцию могут выполнять построения типа *четырёхугольный круг*.

Почти через тридцать лет к эксперименту Штейнталья вернулся датский лингвист О. Есперсен. Построения типа *два плюс два пять* (*two and two are five*) ему казались «грамматически правильными, но лексически ошибочными»³⁶. Как видим, Есперсен уже решительнее выступает против «прекрасной немецкой фразы» Штейнталья, хотя и предлагает весьма наивное решение: построения типа *два плюс два пять*, сохраняющие грамматическую правильность, кажутся исследователю ложными лишь в лексическом плане. Как и Бреаль, Есперсен, однако, не ставит вопроса о том, какую коммуникативную функцию могут иметь построения типа *два плюс два пять*. Через полтора десятка лет новое истолкование конструкций типа *четырёхугольный круг* предложил итальянский ученый Бенедетто Кроче. Он внес в их интерпретацию новый критерий — эстетический. Признавая подобные конструкции «грамматически возможными», Кроче лишал их какой бы то ни было эстетической функции. Больше того. Подобные построения представлялись итальянскому философу «эстетически невозможными»³⁷. И уже в наши дни советский лингвист И. Ф. Вардуль, вновь возвращаясь (без ссылок на своих многочисленных предшественников) и вновь защищая представление о грамматике как сфере «чистых форм», стал утверждать, что сочетания слов типа *Волга впадает в Индийский океан* выступают в функции правильного русского предложения³⁸.

Такова краткая история проблемы грамматических построений типа *этот круглый стол четырехугольный*, *четырёхугольный круг*, *дважды два пять* и т. д. Как мы видели, лингвисты разных философских ориентаций давали и дают разные ответы на вопрос о том, можно ли считать подоб-

³⁴ Там же, стр. 316, 360.

³⁵ M. Bréal, *Essai de sémantique*, 6 éd., Paris, 1913, стр. 224.

³⁶ O. Jespersen, *Mankind, nation and individual from a linguistic point of view*, Oslo, 1925, стр. 116 («right grammatically, but lexically wrong»).

³⁷ Benedetto Croce, *Probleme di estetica*, Bari, 1940, стр. 173.

³⁸ И. Ф. Вардуль, Об изучении семантического аспекта языка, ВЯ, 1973, 6, стр. 14—15.

ного рода конструкции «прекрасными русскими предложениями» или так считать нельзя. Диапазон разных ответов очень широк. Особенно важно подчеркнуть, что ответы на данный вопрос находятся в прямой зависимости от понимания общественной природы языка и его функций.

Нередко выдвигаются доводы: ну а как быть с различного рода религиозными убеждениями, как быть с теми, кто верит в существование ведьм, колдунов, фей, леших, эльф, русалок, домовых, кто верит, например, в «высшие небесные силы». Ведь для таких людей предложения типа *злая воля колдуна* или *добрые пожелания феи* представляются вполне возможными и даже реальными. Подобные возражения бьют, однако, мимо цели. У людей, разделяющих такие взгляды, разграничение мира реального и мира воображаемого проходит по другой плоскости, чем у людей, с позиции современной цивилизации нормальных. Разумеется, построения типа *добрые пожелания феи* людям первой категории кажутся вполне возможными, вполне коммуникативными. Но это уже совершенно другой вопрос, обусловленный сложностью культурного развития человечества, неоднородностью его социального, профессионального, возрастного, полового и прочего состава.

Ну а как быть с поэзией, с поэтическим языком? — спросят защитники «четырехугольного круга». Ведь в поэзии каждого народа широко встречаются такие слова, словосочетания и предложения, которые кажутся необычными и даже невозможными с позиции нашего обычного, повседневного языка. Как быть с *телегой жизни* Пушкина, *хрустальным днем* Тютчева, *золотыми звездами* Есенина, *облаком в штанах* Маяковского? Ведь в жизни *день* не бывает *хрустальным*, а во вселенной *звезды* не превращаются в *золото*. Эти возражения тоже бьют мимо цели. Хорошо известно, что стиль художественной литературы и, особенно, стиль поэзии прочно опираются на образные средства общенародного языка. Подобные средства есть и в нашей повседневной разговорной речи: на каждом шагу мы прибегаем к таким выражениям, как *ножка кресла* или *спинка стула*, *глубокое содержание* или *бездонное небо*. В стиле же художественной литературы, казалось бы, аналогичные средства приобретают, однако, качественно иное значение: они активно осмысливаются прозаиками и поэтами, которые с помощью подобных выразительных средств усиливают воздействие на читателей, углубляют содержание и совершенствуют форму своих произведений. Именно поэтому *хрустальный день* или *золотые звезды* в поэзии выступают одновременно и как факты языка, тогда как *четырехугольный круг* или *дважды два пять* такими фактами уже не являются. Если *дважды два пять* признать «прекрасной русской фразой», то такими же «прекрасными фразами» надо будет признать и построения типа *дважды два верблюды*, *дважды два телефон* или *дважды два застрявший день*³⁹. Если язык действительно общественный феномен и его коммуникативная функция (в самом широком смысле) действительно является его основной функцией, тогда последние приведенные конструкции не имеют отношения к языку, ибо они не выполняют никаких общественных функций и в процессе коммуникации выступают всегда со знаком минус. Следовательно, нельзя одновременно утверждать, что построение *этот*

³⁹ Уже Платон заимствовал у Демокрита особый прием опровержения, согласно которому предложение *все высказывания ложны* несостоятельно прежде всего потому, что содержание самих предложений подобного типа тоже должно быть признано ложным. См.: П. С. Попов, Н. И. Стяжкин, Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения, М., 1974, стр. 33—34. В споре Пигасова с Рудиным в романе И. С. Тургенева («Рудин», гл. 3) первый диспутант заявляет, что «убеждений не существует», Рудин парирует: «Это ваше убеждение? Да. Как же вы говорите, что их нет. Вот вам одно на первый случай».

круглый стол четырехугольный «правильное русское предложение» и что вместе с тем основная функция языка является коммуникативной, а природа языка — социальной. Проблема выступает не в форме «и то, и другое», а в форме «либо то, либо другое».

В свое время американский философ и математик Чарлз Пирс (1839—1914), много сделавший для разработки теории знаков, вместе с тем ошибочно утверждал, что порядок и связь вещей не имеет ничего общего с порядком и связью идей⁴⁰. Пирс постоянно боролся с принципом Декарта, который усматривал слишком прямолинейную связь между рядом вещей и рядом идей. После Пирса в идеалистической философии разделение ряда вещей и ряда идей превратилось в своеобразное знамя, в принцип независимости идей от всего «земного», от реальной действительности. В лингвистике влияние этого философского направления обнаруживается прежде всего в стремлении изолировать язык от действительности, от его общественных функций, превратить язык в царство замкнутых в себе форм.

Проблема осложняется еще и тем, что сама действительность истолковывается совсем неодинаково. В некоторых направлениях современной семиотики проводится настойчивая мысль о том, что существуют различные типы действительности: особая автономная действительность, как бы замкнутая рамками данного контекста и резко отличающаяся от реальной действительности. Затем следуют действительность читателя, действительность слушателя, а иногда и некоторые другие «виды и типы действительности»⁴¹. При подобном расчленении действительности становится совершенно неясно, с какой же действительностью соотносится язык. Делается все для того, чтобы отделить язык от подлинной (реальной) действительности. Вопрос ставится так: если язык и соотносится с действительностью, то не в ее явном бытовании, а лишь в сознании читателя или слушателя, лишь в рамках одного контекста. Между тем разработка проблемы различных видов действительности, сама по себе вполне возможная в семиотике, будет лишь тогда успешной для лингвистики, когда поможет понять подлинные взаимоотношения (часто очень сложные) между языком и реальной действительностью.

В свое время Л. В. Щерба совершенно справедливо настаивал, что проблема понимания — центральная проблема науки о языке⁴². В свете этой проблемы становится очевидным, что построения типа *четырёхугольный круг*, разрушая основы всякого понимания, не могут считаться «лингвистически правильными, но логически ошибочными». Специфику языка в отличие от логики надо искать не в том, что язык будто бы разрушает все основы логики и сам по себе алогичен и даже антилогичен, а в том, что язык по-своему передает логические законы нашего мышления. «Изучение грамматики, — писал Гегель, — составляет начало логического образования»⁴³. Если бы язык был антилогичен, то с его помощью, во-первых, нельзя было бы выразить логические законы и логические понятия и, во-вторых, проблема понимания

⁴⁰ «Collected papers of Charles Sanders Peirce», VI, Harvard University Press, 1960, § 426.

⁴¹ О них см. яркую статью польского филолога: Э. Чаплевиц, Целостен ли структурный анализ?, «Вопросы литературы», 1974, 7, стр. 218—220.

⁴² Л. В. Щерба, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 25—30. С иных методологических позиций проблема понимания как лингвистическая проблема сейчас усиленно разрабатывается в американской науке. См., например: W. L. Chafe, Language and conscience, «Language», 1971, 1, стр. 111—133.

⁴³ Гегель, Работы разных лет, I, М., 1970, стр. 406.

между людьми не могла бы находиться в центре науки о языке. Язык не имел бы важнейшей коммуникативной функции.

Хочу еще раз подчеркнуть⁴⁴, что сказанное отнюдь не означает, будто бы язык приравнивается к идеологии. С помощью языка люди добиваются понимания (именно добиваются, нередко преодолевая трудности) между всеми членами общества, в том числе и между представителями разных идеологий. Предложение *революция открывает народу путь к знанию* может истолковываться представителями разных идеологий неодинаково. И все же каждому ясно, о чем идет здесь речь. Построение же типа *этот круглый стол четырехугольный* неясно само по себе, оно не выполняет никакой языковой функции (коммуникативной, функции названия, функции выражения мысли или чувства) и поэтому к языку не относится. Так одно положение оказывается связанным с другим. Социальная природа языка не дает никакой возможности признать построение типа *этот круглый стол четырехугольный* предложением русского языка. Нельзя одновременно защищать тезис об общественной природе языка и считать только что приведенное построение фактом языка, сама природа которого всегда общественного характера.

6

Еще в восьмидесятых годах прошлого столетия один из замечательных русских лингвистов Н. В. Крушевский (1851—1887), рано умерший, в своем прекрасном «Очерке науки о языке» писал: «Развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий»⁴⁵. Этими полными глубокого смысла словами Крушевский заканчивал свой «Очерк», тем самым отмечая всю важность приведенного тезиса. Любопытно, что уже в наши дни Р. О. Якобсон подчеркивает новаторский характер данного тезиса Н. В. Крушевского не только для современной лингвистики, но и для «будущих жарких дискуссий о назначении человеческого языка»⁴⁶.

К сожалению, Р. О. Якобсон, совершенно справедливо выделяя важность и актуальность «новаторского тезиса Крушевского», вместе с тем ничего не говорит о том, что подобный тезис резко противоречит всей формалистической лингвистике во всех ее вариантах и разновидностях⁴⁷. Подобная лингвистика находит опору уже у Соссюра, в «Курсе» которого можно было прочесть: «...язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий»⁴⁸. Совершенно очевидно, что в свете концепции Крушевского построение *этот круглый стол четырехугольный* к языку не относится, а в свете только что приведенного тезиса Соссюра вполне относится.

Между тем, если принять действительно новаторский и для нашего времени тезис Крушевского (типичный для русского и советского языкознания и только затемненный отдельными его представителями за последние двадцать лет), то из самого этого тезиса следует сделать множество выводов. Прежде всего нельзя согласиться с тем, что все функции

⁴⁴ См.: Р. А. Б у д а г о в, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4.

⁴⁵ Н. В. К р у ш е в с к и й, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 149 (приведенные слова — заключительный тезис книги, в другом месте которой (стр. 69) читаем: «Соответствие мира слов миру мысли есть основной закон развития языка»).

⁴⁶ R. J a k o b s o n, Essais de linguistique générale, 2, Paris, 1973, стр. 256—257.

⁴⁷ Необходимо строго различать понятие «формального» и понятие «формалистического» в науке о языке. См. об этом в моей статье «Категория значения...» (стр. 17—18).

⁴⁸ Ф. д е С о с с ю р, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 92.

языка одинаково существенны и равноправны. В свое время Р. О. Якобсон перечислял шесть таких функций: познавательная, коммуникативная, экспрессивно-эмоциональная, побудительная или аппеллятивная, фатическая или непосредственно-контактная, поэтическая⁴⁹. В ракурсе тезиса Крушевского надо признать центральными функциями языка функцию коммуникативную и функцию выражения наших мыслей и чувств. То же подчеркивали, как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс в своем определении природы и назначения языка⁵⁰.

Разумеется, язык многогранен и многоаспектен. Здесь не может быть спора. Вместе с тем в этой многогранности и многоаспектности следует уметь видеть главное и неглавное, ведущее и неведущее, более типичное и менее типичное.

Подобное разграничение следует проводить по всем уровням языка. Приведу здесь только один пример. Хорошо известно, что значения полисемантических слов реализуются в контексте. То же следует сказать и о синонимах. На этом основании теперь часто утверждают, что слова не имеют объективных значений, ибо действительными они становятся только в определенной ситуации, только при определенных отношениях. Здесь вновь обнаруживается переоценка категории отношения. Между тем в свое время В. В. Виноградов был безусловно прав, когда писал: «Вне зависимости от его данного употребления, слово присутствует в сознании со всеми своими значениями...»⁵¹. Развивая это бесспорное положение, которое, к сожалению, представители формалистического языкознания теперь всячески стремятся оспорить, другой исследователь справедливо различал: «Перед нами — два взаимодействующих фактора: значение слова и его сочетаемость. Как бы ни было тесно и постоянно взаимодействие этих факторов, в работе по теоретической семантике они обязательно должны быть разграничены: изучение и разграничение значений слова не может подменяться изучением его сочетаемости»⁵².

Здесь мы вновь подходим к проблеме, вокруг которой ведутся жаркие дебаты в разных направлениях современной лингвистики. «Слово за пределами данного контекста ничего не означает, оно ложно», — замечает западногерманский лингвист Вайнрих⁵³. «Значение слова — это сумма его контекстов», — пишет французский филолог Мунен⁵⁴. «...в идеале, каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак, в его материальном воплощении», — заявляют составители первого выпуска коллективной работы о русском языке⁵⁵. Во всех этих случаях значение слова и, в особенности, значения полисемантических слов сводятся к сумме контекстов. Обобщающая сила слова — мощь и украшение любого национального языка с большой литературной традицией — либо прямо отрицается, либо ставится под сомнение. Получается так, будто бы слова вообще нет вне контекста и языка — вне ситуации.

Во всех приведенных случаях исследователи стремятся упростить язык для того, чтобы облегчить приемы и методы его формализации. Многозначное слово не поддается формализации, поэтому многозначность

⁴⁹ Сб. «Linguaggi nella società e nella tecnica», стр. 11.

⁵⁰ См., в частности, их совместную раннюю книгу «Немецкая идеология», М., 1933, стр. 434—435.

⁵¹ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 14.

⁵² Н. Ю. Шведова, Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна «Синонимия и синонимы», ВЯ, 1970, 3, стр. 41.

⁵³ H. W e i n r i c h, Linguistik der Lüge, Heidelberg, 1966, стр. 33.

⁵⁴ G. M o u n e n, Clefs pour la sémantique, стр. 241.

⁵⁵ «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», стр. 121.

объявляется нехарактерным для языка феноменом⁵⁶. Каждый отдельный контекст формализовать легче, поэтому за пределами данного контекста слова признаются как бы несуществующими. Этот же метод переносится и на другие языковые категории, на фонетику и на грамматику.

В наше время в формалистической лингвистике широко распространена модная теория, согласно которой естественные языки человечества будто бы характеризуются двусмысленностью. Пишутся даже целые книги о двусмысленности и избыточности языка⁵⁷. Возникают утверждения, что все языковые категории, все единицы языка всех его уровней сами по себе, вне данного контекста, ничего не означают: в лучшем случае они двусмысленны, в худшем — ложны и ничего не выражают.

Я убежден, что доводы сторонников концепции «язык и речь сами по себе двусмысленны» совершенно несостоятельны. Чем больше развит язык, чем глубже его история, чем богаче литература, на нем созданная, тем менее вероятна сама возможность возникновения двусмысленности. Как общее правило, двусмысленными бывают, разумеется, не национальные языки, а лишь отдельные слова и отдельные конструкции в устах людей, по тем или иным причинам плохо владеющих данным языком. Обратим внимание на доводы сторонников двусмысленности самого языка.

Предложение *Он ее видел*, по мнению приверженцев упомянутой концепции, может «означать что угодно», в частности, «мужчина видел женщину», «мальчик видел девочку», «кот видел кошку» и т. д. Вывод: язык двусмыслен. Подобного рода «вывод» может убедить лишь поверхностных филологов. Предложение *Он ее видел*, разумеется, имеет строго определенное значение и вне данного контекста, вне данной ситуации. Оно означает: «некто мужского пола видел существо женского пола». Здесь может отсутствовать конкретная расшифровка подобных *некто* и *существо*. Но в том-то и сила языковых обобщений, что они способны передавать определенные значения вне всяких конкретных ситуаций. Эти последние лишь уточняют, лишь реализуют обобщенные значения: речь может идти и о мужчине (*он*) и о мальчике (*он*) и о коте (*он*), но во всех подобных случаях контекст лишь конкретизирует то, что совершенно точно, хотя и без конкретизации, выражено вне данного контекста. Поэтому предложение *Он ее видел* как синтаксическая конструкция и не заключает в себе ничего двусмысленного. Если мы станем на противоположную точку зрения, то неизбежно будем вынуждены лишить язык, в том числе и его грамматику, всякой абстрагирующей силы.

Разумеется, разные языки по-разному устраняют чисто теоретическую возможность возникновения двусмысленности. Испанец скажет *su madre* «его (ее) мать», по-русски подобная конструкция дифференцирована (*его, ее*), как дифференцирована она и по-английски (*his mother — her mother*). Но если испанцу нужно специально подчеркнуть притяжательное местоимение *его* или *ее*, он скажет *la madre de el, la madre de ella*. Какая же здесь двусмысленность? Как общее и неизбежное правило развитой язык всегда располагает возможностями уточнить ту или иную конструкцию, если это необходимо по условиям коммуникации. Если все же двусмысленность возникает, то вина здесь падает на говорящего или пишущего, недостаточно владеющего всеми огромными ресурсами языка. Сообщая, о чем беседовала со своим возлюбленным Рудольфом Эмма роман «Госпожа Бовари», Флобер замечает: «она рассказывала ему

⁵⁶ См., например: А. А. В е т р о в, Методологические проблемы современной лингвистики, М., 1973, стр. 39—41.

⁵⁷ См., например: J. G. K o o i j, Ambiguity in natural language, Amsterdam, 1971; D. W o r t h, Ambiguity in Russian derivation, сб. «The Slavic Word», The Hague — Paris, 1972, стр. 120—141.

о своей матери и спрашивала о *его* матери». В оригинале: «elle l'entretenait de sa mère, à elle, et de sa mère, à lui». Одинаковое местоимение *sa* вызывает необходимость уточнения (à elle, à lui). Следовательно, надо только владеть языком, и никакой двусмысленности не возникнет.

Знаменитый, ставший трафаретным пример, который в таких случаях приводят, — *страх врагов*, как раз и обнаруживает антисоциальный принцип его истолкования. Утверждают, что словосочетание типа *страх врагов* означает и «страх перед врагами» и «страх, который испытывают сами враги». Между тем здесь-то и выступает на первый план социальный фактор. Язык предоставляет говорящим точно передать свою мысль. Если возникает опасность двусмысленности, сам язык предлагает выбор: страх *перед* врагами, страх, *внушаемый* врагами, страх, *испытываемый* самими врагами, страх, *переживаемый* врагами и т. д. и т. п. Разумеется, словосочетание *страх врагов* возможно и вне всякого контекста (все единицы и категории языка существуют объективно). В этом абстрактном плане язык как бы говорит человеку: «если словосочетание *страх врагов* в исключительной ситуации можно будет истолковать и как *страх перед врагами*, и как *страх, который испытывают сами враги*, то я, язык, предоставляю тебе, человеку, многочисленные возможности для уточнения твоей же мысли. Ты только знай об этих возможностях и умей быть моим повелителем». При таком условии двусмысленность устраняется до самой вероятности ее возникновения.

Здесь происходит то же, что и в лексике. Полисемантическое слово типа *земля* имеет множество значений и объективно бытует в языке во всем многообразии этих значений (с главным в основе: *земля*, на которой мы живем). Нет никаких оснований считать, что существительное *земля* вне контекста двусмысленно, хотя само слово действительно имеет множество значений. Вместе с тем в контексте, в процессе выполнения своей коммуникативной (общественной) функции, это слово всякий раз уточняется, выступая то в одном из своих значений, то в другом. Как общее правило, никакой двусмысленности при этом не возникает. И это естественно: полисемия в лексике — одно из самых типичных свойств любого национального языка⁵⁸.

Несколько иначе в грамматике, где удельный вес конструкций типа *страх врагов*, теоретически допускающих разные истолкования, очень невелик в структуре разных развитых языков. Но даже независимо от степени характерности подобных построений, само утверждение о двусмысленности языка и утверждение о социальной природе языка теоретически несовместимы. Одно из них резко противоречит другому. Сама общественная природа языка обеспечивает точность и недвусмысленность всех его ресурсов, в частности, и в области лексики и в области грамматики.

Убеждение, согласно которому все естественные языки человечества (в отличие от искусственных языковых построений) являются сами по себе во многом двусмысленными, фактически ошибочно, теоретически, антисоциально. Языки не могли бы выполнять своей важнейшей функции в обществе — средства общения и средства выражения мыслей и чувств!

⁵⁸ См. об этом главу «Закон многозначности слова» в моей книге «Человек и его язык», М., 1974, стр. 117—124. Доктрина, согласно которой слово вне контекста ничего не означает, безусловно ошибочна и практически, и теоретически. Между тем эту доктрину защищают многие ученые, в том числе и С. Д. Кацнельсон (см. его книгу «Типология языка и языковое мышление», М., 1972, где он пишет: «Слово само по себе, вне предложения, ничего не высказывает о реальных фактах, не воспроизводит их. Называя предметы и признаки предметов, мы лишь намекаем на некоторые факты, но не отображаем их» — стр. 140). Опасная для языка концепция, очень обедняющая его.

людей, живущих в этом обществе, если бы они были сами по себе двусмысленными. Между тем генеративная грамматика Н. Хомского исходит из предположения, что для национальных языков типична, с одной стороны, двусмысленность, а с другой — избыточность⁵⁹.

7

Как мы видели, имеется множество истолкований общественной природы языка. Среди них можно выделить две полярные доктрины: согласно одной из них общественная природа языка — это лишь внешние условия его существования плюс небольшая доля слов, «социально окрашенных» (такую концепцию защищает большинство зарубежных лингвистов и некоторые советские лингвисты в последние два десятилетия), согласно другой — общественная природа языка определяет не только условия его бытования, но и все его функции, особенности его лексики и фразеологии, грамматики и стилистики. В предшествующих строках была сделана попытка обосновать именно это второе понимание общественной природы языка.

Что же мешало до сих пор такому подходу к общественной природе языка? Боязнь упреков в вульгарной социологии. К сожалению, вплоть до наших дней действует тактика упреждающего удара: Вы хотите осмыслить общественную природу языка не только в связи с внешними условиями его функционирования, но и в связи с самим языком? Если так, то Вы — вульгарный социолог, Вы связываете язык прямо с обществом. Это вздорные обвинения, ибо язык и в самом деле прямо связан и с обществом, и с людьми, составляющими данное общество. Что же касается вульгарной социологии, то она возникает не в результате соотнесения языка и общества, а в результате ошибочной трактовки подобного соотнесения. Это совсем разные явления. И об этом всегда следует помнить.

К сожалению, до сих пор многие ученые, в том числе и очень известные, считают, что объяснить какое-либо лингвистическое явление ссылкой на социальный фактор, вызвавший это явление, значит признать свое бессилие как лингвиста⁶⁰. Близки к такому противопоставлению и некоторые советские лингвисты. Так, например, А. С. Чикобава перечисляя, какие науки находятся рядом с лингвистикой, называет и социологию языка («помимо лингвистики возникли... социология языка, социолингвистика...»⁶¹). Но если социология языка существует «помимо лингвистики», то нет ничего удивительного, что всякая социальная интерпретация лингвистической категории, лингвистического процесса, должна быть признана интерпретацией нелингвистической, как бы посторонней. Автор «с другого конца» приходит к тому же противо-

⁵⁹ См. об этом помимо ранее указанной книги голландского исследователя («Ambiguity in natural language», стр. 32—36) хрестоматию: М. А г р и в ё, Ж. Ш е в а л и е р, La grammaire. Lectures, Paris, 1970, стр. 221—222.

⁶⁰ См. об этом: У. В е и н г е и х, М. Л а б о в, М. Н е р з о г, Empirical foundations for a theory of language change, New York, 1968, стр. 177—179.

⁶¹ А р н. Ч и к о б а в а, О философских вопросах языкознания, ИАН ОЛЯ, 1974, 4, стр. 312. Не так прямо, более «осторожно» выносят социологию языка за пределы лингвистики и другие советские лингвисты наших дней. Так, например, Г. В. Колшанский в своей работе о паралингвистике (о несобственно языковых средствах в процессе речевой коммуникации), справедливо подчеркивая, что паралингвистика является частью самой лингвистики, вместе с тем неправомерно противопоставляет первую социолингвистике как относящейся (по мнению автора) к внешним особенностям функционирования языка (Г. В. К о л ш а н с к и й, Паралингвистика, М., 1974, стр. 20). Социолингвистика оказывается тем самым чем-то внешним не только по отношению к науке о языке, но и по отношению к самому языку.

поставлению лингвистического и общественного (социального), которое наблюдается и у большинства зарубежных исследователей.

При такой, на мой взгляд, глубоко ошибочной постановке вопроса становится совершенно неясно, что же такое общественная природа языка. Как можно утверждать, что природа языка общественна, но общественное истолкование языковых фактов и процессов признавать при этом истолкованием нелингвистическим? Я убежден, что так поступать нельзя. Сказанное отнюдь не означает, что лингвистические факты, категории и процессы не имеют своей лингвистической специфики. Разумеется, они ее не только имеют, но и немыслимы без подобной специфики. Я только хочу подчеркнуть, что языковая специфика может быть правильно осмыслена лишь на фоне общественных функций самого языка. Поэтому уместно установить, какие социальные импульсы вызывают ту или иную специфику отдельного языка, или группы языков, или многих языков, обнаруживает не бессилие лингвиста, а его силу, силу проникновения в языковые категории и языковые процессы. В этом случае тезис об общественной природе языка перестает быть простой, а нередко и пустой, преамбулой, а становится действительным тезисом, с позиций которого рассматриваются в принципе все языковые явления.

В этом плане становится очевидным, что понятия «лингвистический», с одной стороны, и «общественный» (социальный) — с другой, это не антагонистические, а постоянно, всесторонне и глубоко взаимодействующие понятия.

Уже само определение языка (средство коммуникации между людьми, средство выражения их мыслей и чувств) ко многому обязывает. Хотя этому определению свыше двух тысяч лет, оно остается «вечно молодым», так как функции языка, несмотря на их постоянное совершенствование, остаются коммуникативными. Вместе с тем старое определение языка внутренне обогащается в связи с успехами изучения теории языка, в связи со все более широким исследованием различных языков народов мира, в связи с новыми научными открытиями. Как современная наука все в большей степени становится непосредственной производительной силой, необходимым фактором производственного процесса, так и социальные функции языка в жизни современного общества постоянно расширяются⁶².

Понятие общественного (социального) гораздо шире понятия идеологического. Объясняя самые различные лингвистические явления социальными факторами, мы не должны «замыкать» язык рамками одной идеологии, одного социального класса. Язык всегда стремится быть средством общения между всеми классами общества, хотя идеология различных классов оказывает заметное воздействие на отдельные сферы и области языка, прежде всего на его лексику, фразеологию, стилистику.

В. И. Ленин всегда считал, что сознание людей и отражает объективный мир и активно на него воздействует. При чтении «Науки логики» Гегеля В. И. Ленин, в частности, сделал такую запись: «Сознание чело-

⁶² «Язык — средство выражения современных знаний, поэтому лингвисты находятся на линии огня» (in the line of fire) (D. B o l i n g e r, Truth is a linguistic question, «Language», 3, 1973, стр. 544). Успехи науки и техники, сами по себе замечательные, вызывают, к сожалению, иногда и панику у отдельных ученых. В 1958 г. в связи с первыми опытами машинного перевода некоторые авторы пытались доказать, что «традиционное языкознание — это труха» (так и сказано — труха), которая рассыпается в свете новых идей машинного перевода (сб. «Материалы по машинному переводу», 1, Л., 1958, стр. 5—9). С тех пор прошло много лет, и читатели могут убедиться, что в большей степени подверглось процессу «устаревания».

века не только отражает объективный мир, но и творит его»⁶³. *Mutatis mutandis* это же можно сказать и о языке. Наш язык связан с нашей действительностью в широком смысле и вместе с тем оказывает на нее известное воздействие: возникающие в языке новые слова, новые значения старых слов, новые словосочетания, новые синтаксические конструкции, новые осмысления старых стилистических построений и т. д. помогают людям лучше, полнее, адекватнее осмыслять окружающий их мир, точнее передавать друг другу свои мысли и чувства. В этом тоже обнаруживается общественная природа языка и его творческий характер. Поэтому нет никакой необходимости сводить творческий характер языка лишь к «способности языка» автоматически воспроизводить те или иные грамматические конструкции по аналогии с уже существующими образцами, как это настойчиво предлагает делать Н. Хомский и его последователи. Творческие возможности языка, разумеется, не сводятся лишь к возможностям автомата.

Н. В. Крушевский был безусловно прав, когда сформулировал основной закон языка как закон соответствия мира слов миру мыслей. Чем больше развивается и совершенствуется язык, тем ближе он подходит к этому идеалу. При этом «мир слов» Крушевский понимал очень широко, вкладывая в это словосочетание все ресурсы языка, все его разнообразные — реальные и потенциальные — возможности. В этом плане по-новому осмысляется и общественная природа языка. Я глубоко убежден, что представление об общественной природе языка нельзя сводить лишь к внешним условиям его бытования. На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи, я отвечаю так: общественную природу языка надо уметь обнаруживать в самом функционировании любого национального языка, во всех его областях и сферах. Здесь открываются новые области лингвистики, не только не внешние по отношению к ней, как науке, но составляющие ее существо, формирующие ее «душу». Эти новые области ждут своих будущих исследователей.

⁶³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 194. О том, как толковал Гегель взаимоотношения языка и сознания, см.: J. Simon, *Das Problem der Sprache bei Hegel*, Stuttgart, 1966, стр. 25—35.